

Печальный веселый солдат

Всякий раз, когда я в очередной раз выставлял перед ним и включал диктофон, он иронично улыбался, посверкивая здоровым глазом:

— Вот вы, нынешние журналисты, совсем работать отучились. На кнопку нажал, записал, потом на бумагу перенес, и все — интервью готово. А мы в блокноты писали — карандашом или, еще хуже, перьевой ручкой...

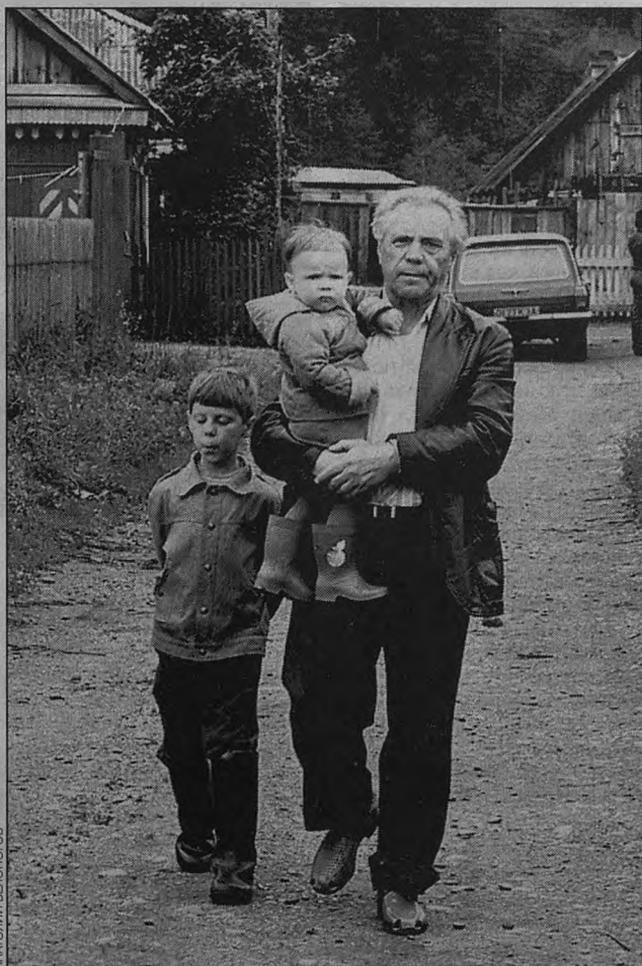
И внешне, и даже характером он сильно изменился в последние перед смертью два-три года: заметно постарел, прибавилось морщин, лицом стал походить на французского актера Жана Габена, да и ворчать стал больше. Много и тяжело болел, почти обезножил, подслеп и, наверное, очень стеснялся этой надвигающейся на него беспомощности и неподвижности.

Он ведь всегда и во всем привык быть настоящим мужиком — сильным, здоровым, насмешливым. Чтобы и рюмку замахнуть, и деву ладную приметить за столом, приобнять шуливо, и попеть в свое удовольствие, и рассказать компании смешную историю, каких было у него множество на все случаи жизни. А потом убежать в Овсянку, в свой скромный, почти дачный домик, купленный у дружка-фронтовика Васи только потому, что стоял прямо напротив родного бабушкиного дома, и там, отгородившись ото всех незваных гостей — журналистов, киношников, политиков, просто любопытных, заниматься обыденным своим делом — писать.

Он всю жизнь привык работать как вол, но особенно навалился на работу в последние годы, и чем больше оставляло здоровье, чем меньше становилось сил, тем яростнее он писал. Видимо, боялся не успеть сказать что-то главное. Здесь, в Овсянке, он написал третью книгу «Последнего поклонна», «Царь-рыбу», «Печальный детектив», «Зрячий посох», «Веселого солдата» и завершил, быть может, главную книгу своей жизни «Прокляты и убиты», страшную правду о войне, читая которую, будто прикасаешься к оголенным проводам.

Работать, однако, не давали. Астафьев всегда старался держаться подалеже от политики, но она, политика, особенно в разгар «революционных девяностых», сама достала его, вторглась в жизнь грубо и неотвратимо. Началось все, когда стая товарищей из местного писательского леса выпустила номер литературного альманаха «Енисей», полностью посвященный юбилейным восхвалениям Сталина. Астафьев, а с ним еще несколько писателей, в знак протеста вышли из состава редколлегии альманаха, а в краевой писательской организации произошел раскол.

«Товарищи» отреагировали незамедлительно. Роман «Прокляты и убиты» был объявлен «оскорбляющим великий советский народ», а сам писатель — «предателем» того самого народа-победителя. Вой и топот доносились из многих кабинетов. Особо усердствовала в травле местная «газета: столько же безумные, как и сама газета, ее читатели, подхлестнутые подметными статьями, прислали письма, обвиняющие писателя в тяжких грехах. «Мы, рабочие такого-то завода, с возмущением прочитали книгу Астафьева...» Немало еще у нас людей, не желающих знать правду: то ли по привычке боятся ее, то ли так легче и проще жить — не в реальной, а в придуманной истории.



АНАТОЛИЙ БЕЛОГОЛОВ

Астафьев старался пропустить все мимо ушей, первое время даже не отмывался. Но вспомнил ко времени слова великого русского критика Стасова: «Укус клопа несмертелен, но вонь от него претвратительна». И ответил своим оппонентам, однако сделал это так, как и должен был сделать настоящий писатель.

Он опубликовал очередную «затеся», одну из лучших, на мой взгляд, одну из самых пронзительных и страшных своей горькой правдой. Называлась она «Заматерелое зло», и рассказывалось в ней, как два солдата-дезертира за просто так убили хорошего мужика, читинского писателя Евгения Куренного, а потом жили в его дачном домике-развалюхе, в туалете подтирались листами его незаконченной рукописи, а уезжая на его же старенькой машине, устроили на даче погром, и «не простой погром, но с презрением ко всяким там интеллигентам, тем более писателям». На суде они не раскаивались, а даже испытывали внутреннее торжество — «не кого-нибудь, писателя утروхали, не каждому солдату так повезет».

Последние строки «затеся» пророчески страшны: «Получая письма с угрозами выковырять мне последний зрячий глаз, уцелевший на войне, от злостствующего быдла и читая оголтелые статейки отставников в красноярской патриотической газете, самозвано поименованной народной, о том, как они, патриоты, как только вновь завладеют властью, всех неугодных им людей на лесоповал пошлют, я ничему уже не удивляюсь. Да и как удивляться, если общество, пройдя лагерную выучку, а лагерем была вся страна, творит не просто преступления, но преступления изощренно-эстетического порядка...»

Теперь, когда Виктор Петрович уже два с лишним года, как лежит на деревенском погосте, мне кажется, что это он и о себе сказал: «Не кого-нибудь, писателя утروхали...» Потому, как и хотел бы не замечать все эти наветы, писанные то по злобе, то по скудоумию, да не мог: всякий из них больно бил в самое сердце и, конечно же, укорачивал жизнь. И я не жалею, что, несмотря на подначки старого писателя, все же не забывал нажимать кнопку диктофона: кассета сохранила запись его жесткого и отчаянного монолога, который, признаюсь, я не рискнул вставить в интервью к предыдущему юби-

лею пятилетней давности — все же праздник. Вот он, этот монолог:

Может быть, именно эти слова являются ключом к эпитафии, которую обнаружила вдова Марья Семеновна в рабочем столе писателя после его смерти? В конверте лежал простой листок бумаги: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать Вам на прощание».

Тогда же, в апреле 1999 года, потрясенный его монологом, этим почти гамлетовским «зачем?», я все же решился спросить Виктора Петровича: «Но что-то заставляет вас снова и снова садиться за стол и писать?» И услышал в ответ:

«Какая-то надежда на то, что твой труд кому-то нужен, как этим библиотекарям и учительницам, приходящим на встречи. Удерживает тебя на земле. Смотришь, еще какая-то ниточка осталась для жизни, еще отсыкивается повод для оптимизма. Встретишь хорошего человека — хорошо, увидишь какой-то пример поступка благородного, самоотверженности — поделился кто-то с кем-то куском хлеба, усыновил детей, людей спас — тоже хорошо.

Но ведь и тут тебе нанесут удар. Три года назад у нас тонули ребятишки на Абаканской протоке. Мужик четверых их вытащил, гавриков, сам утонул. Никто из родителей четверых этих детей не пришел к осиротевшей с двумя ребятишками женщине, никто не позволил, никто ни куска хлеба не принес, ни копейки.

Мы перестали быть благодарными. За это время, что мы переоделись в добротные одежды и башмаки, без заплата стали ходить, есть более-менее хорошо — Бога хотя бы благодарили за счастье каждого прожитого дня. Научись, на первый случай, хотя бы благодарности. И тогда тебе легче станет...»

Казалось бы, даже в промозглости наших дней Астафьев все время пытался углядеть хотя бы тонкий, трепещущий лучик, дарящий надежду и веру. Так хочется завершить эту, совсем не юбилейную по сути, статью словами добрыми и вечными — о Боге, о счастье, о благодарности. Только почему-то в памяти все всплывает и всплывает та самая фраза — «не кого-нибудь, писателя утروхали...»

Евгений ЛАТЫШЕВ,
Красноярск